

ПУШКИН В МИФЕ О ДОМЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Тему «дома и мира» можно отнести к вечным темам жизни и творчества. Взаимодействие составляющих двуединство начал многовариантно как внутри определенных исторических периодов, так и в более локальном пространстве индивидуального творчества. В многообразии этих вариантов можно выделить, обобщая, две типологических доминанты: относительной гармонии двух этих начал и ощутимой их антитезы.

Рубеж двух веков (XIX и XX) проходит под знаком обостряющейся антитезы дома и мира. О причинах этого явления писали многие исследователи. В искусстве эта тема становится сквозной, вторгаясь как острая проблема в творчество писателей и поэтов всех течений и эстетико-философских ориентаций. Наличием этой темы (при значительном различии творческой интерпретации) объединяются: Блок, Белый, Маяковский, Цветаева, Бунин, Зайцев, Л. Андреев, Горький, Ахматова. Этот перечень имен может быть многократно умножен¹.

*Двадцатый век еще бездомней
Еще страшнее жизни мгла, —*

писал А. Блок в 1-й главе «Возмездия» и еще раньше о распаде дома, очага, семьи он говорил в статье «Безвременье». Эпоха «распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон» (Блок) бесконечно разнообразно интерпретируется современным искусством. Крайние оценочные ее полюса: зловещий симптом всеобщего жизненного трагизма и радостное ощущение освобождения, преодоления власти быта и отъединенности «я». «Этот уход из дома, — пишет З. Паперный, — тема, предсказанная еще Чеховым, преломляется в поэзии молодого Блока <...> Надо исполниться сурового, строгого смертельного мужества и ринуться в «бездну». Его лирический герой выбегает на улицу с надеждой и отчаяньем — нет пути назад. Есть огромное чувство долга, всеохватывающая мысль о России»².

¹ В советский период эта тема не уходит из литературы, она многократно обостряется, приобретая все более трагический оттенок (достаточно назвать имена Тынянова, Булгакова, Платонова, Мандельштама, Ахматовой, позже писателей-«деревенщиков»). В этом ракурсе эта тема еще ждет пристального внимания исследователей.

² Паперный З. Б. Л. Пастернак. // История русской советской литературы: В 4-х т. — Т. 3. — М., 1968. — С. 352.

Маяковский, отмечает исследователь, подхватывая эту блоковую тему, трансформирует ее уже в ином смысловом ключе. «Блок вырывается из «кельи» в «стужу», Маяковский, стоя на людной улице, на площади, оглашает город-Лепрозорий зычными криками: «Ищите жирных в домах-скорлупах», «Бросьте квартиры»³. На этом доминирующем фоне противоречий внутри названного двуединства выявляет Паперный своеобразие мировосприятия и творчества Б. Пастернака, выделяя по этому признаку Пастернака из общего ряда: «С первых стихотворений молодой поэт утверждает эту «нерасцепимость» дома и мира, островка частной жизни и «большой земли» <...>. У Пастернака мир чувствует себя в доме поэта, как дома»⁴. Внимание к этой работе Паперного обусловлено тем, что здесь, пожалуй, впервые, хотя и очень конспективно, творческая позиция Цветаевой рассматривается в ракурсе интересующей нас темы (взаимоотношение дома и мира). Эволюция этой темы у Цветаевой намечается исследователем пунктирно: от «домашности» первых книг через «Версты» («поэзия странствий, разлук, мытарств, обид, «бездомности») к эмигрантскому образу «поэта-сироты, пасынка мира, <...> оторвавшегося от родной земли и дома <...>, поэтесса идет по миру, как по миру»⁵.

За следующие 20 лет многие исследователи, изучая творческий и жизненный путь Цветаевой, в его целостности или отдельные его этапы, неизбежно касались этой темы⁶. Пробелы пунктира заполнялись, обогащались новыми произведениями и фактами биографии⁷, усложнялась общая картина взаимодействия дома и мира, ветвились и усложнялись другими темами их ипостаси. Все это облегчает работу, позволяя избирательно вводить в том или ином уже изученном периоде тот материал, который непосредственно работает на тему; конечно, и при учете уже сделанного неизбежно некоторое дублирование уже известного (с новыми тематическими акцентами), в том числе и самоповторения⁸.

О домашней интимности ранних стихов Цветаевой писали ее первые рецензенты-поэты (В. Брюсов, Н. Гумилев, М. Волошин). В этих стихах «Вечернего альбома» царил дух дома в Трехпрудном и Тарусской дачи. В мир души юной поэтессы, как равно одухотворенные любовью, входили: люди, природа, вещи. Рояль, книжный шкаф, холодильник зеркал в простенках, бюсты античных богов и героев, заросший травой двор и чулан с таинственными

³ Там же.

⁴ Там же. — С. 354—355.

⁵ Там же. — С. 353.

⁶ См. работы: Орлова Вл., Кудровой Ир., Саакянц Ан., Белкиной М., Павловского и др.

⁷ Здесь особенно значимы мемуарная литература и новые публикации писем Цветаевой и к Цветаевой.

⁸ См. статья: Голицына В. Н. М. Цветаева об А. Блоке // Уч. зап. Тарту. ун-та, Блоковский сб. — Тарту, 1985 и Блоковский сб. IX — Тарту, 1989; М. Цыганская тема в творчестве М. Цветаевой и некоторые вопросы пушкинской традиции // Проблемы современного пушкиноведения. Межвуз. сб. науч. трудов. — Л., 1986.

сундуками Лериного приданого, музыка матери, герои прочитанных книг («Под Грига, Шумана, Кюи/Я узнавала судьбы Тома») и уютное мурлыканье кота («Курлык») — все это в первых книгах Цветаевой, не утрачивая своей предметной ощутимости, преобразалось в чудесный ландшафт «рая детского житья».

В то же время это «непосредственное, бездумное любование пустяками жизни» (Н. Гумилев) настораживало. В Брюсов усмотрел в этой «легкости» потенциальную опасность «Растратить все свое дарование на ненужные, хотя бы и изящные безделушки»⁹. Реализации, отмеченной Брюсовым, творческой потенции Цветаева избежала. Противодействие камерной замкнутости мировосприятия пробивается уже в ранних ее стихах. В стихах 1909—13 гг. проявляется и иная ипостась лирической героини, душа которой рвется на простор «всех дорог» («Молитва»). Ей тесно в милом, но стиснутом стенами пространстве, ей, уже ощущающей себя по-этом, хочется вступить в диалог не только с бытом, но и бытием («Чтобы в мире были двое/Я и мир»). Этот мотив интенсифицируется в творчестве 1914—17 гг. Многозначные его вариации улавливаются почти во всех ее циклах («Стихи о Москве», «Бессонница», «Стихи к Блоку», «Ахматовой»). Именно в этот период поэтически оформится, как лейтмотив, тема ухода из дома. Зазвучит, иногда как прямая перекличка с Блоком, тема распахнутых на улицы и площади (вьюжные, ветреные, ночные) дверей. «Двери/ — Настежь — в темную ночь!» или «В огромном городе моем — ночь./Из дома сонного иду — прочь» (цикл «Бессонница») ¹⁰. Выход героини в мир усложняет состояние ее души. Входит, все разрастаясь, тревожное ощущение неблагополучия, жизни, усугубляемой исторической ситуацией, войной ¹¹.

*Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!*¹²
(80).

Чувство тревоги за все, усиливает в то же время и чувство любви ко всему: людям, стране, жизни.

*Сегодня ночью я целую в грудь —
Всю круглую воющую землю!*
(89).

Еще не разрушен уют дома в Борисоглебском переулке, как это будет в 1918—20-м гг., а тема бездомности, образ разлуки как вечного бродяжничества («в дом забредешь желтоглазый

⁹ Брюсов В. Далекое и близкое. — М., 1912. — С. 198.

¹⁰ См. подробнее в статье: Голицына В. Цветаева о Блоке. // Мир Блока. Уч. зап. Тарт. ун-та. — Тарту, 1985.

¹¹ Об этом она напишет позже в «Истории одного посвящения». См. Цветаева М. Проза. — Кишинев, 1986.

¹² Стихотворения цитируются по изданию: М. Цветаева. Избранные произведения. — М.; Л., 1965, с указанием стр. в скобках.

цыганкой — разлука») обретает масштаб сквозной темы. Эпитет «бездомный» сопровождает ее героинь, включая лирическую. («Сегодня ночью я одна в ночи —/Бессонная, бездомная черница»). Как уже отмечали исследователи, именно в этот период через ее стихи вереницей проходят странники, бродяги, слышится «ркот подков цыганских кочевий»¹³. С этими образами сливается и традиционно-русский образ путей-дорог, уводящих в бескрайние просторы России. Однако в интерпретации темы ухода из дома ощущается и существенное различие Цветаевой с превалирующей в литературе этого времени концепцией «бегства из города» — (серой паучихи Блока, кровавого маскарада у Белого, кошмарного безумия Л. Андреева), на безбрежные просторы деревенской природной Руси¹⁴. В этом варианте резко обозначается негативная интерпретация города. У Цветаевой уход из дома, стремление героини к слиянию с миром и людьми, разновариантны. Это и уход в природную естественную стихию — полнее всего он реализуется в «цыганской теме», где человек наедине с простором — волей степей, неба, звезд («Версты»), здесь и экзотика цыганских шатров, звона монист и конской сбруи. Линия — дома-мира, бескрайнего и безбрежного, вечно влекущего ее душу, пройдет через всю ее жизнь.

Но в стихах 1914—17 гг. не менее значима и другая ипостась дома, Дом — Москва.

Этот мотив объединяет многие ее циклы («Стихи о Москве», «Бессонница», «Стихи к Блоку» и др.). В распахнутые настежь двери ее героиня входит в мир ее города, и этот мир не пугает, а притягивает. Здесь в противоположность героям многих произведений современных поэтов и писателей она не чувствует себя одинокой, отчужденной от людей, природы, бытия. Напротив, именно здесь она острее воспринимает свою причастность к судьбам других («Вот опять окно, где опять не спят»), к стихии природы («Я видела бессонницу леса/И сон полей»), к народной судьбе («Сегодня ночью я целую в грудь — Всю круглую воющую землю!») и, наконец, к истории:

*У меня в Москве — купола горят,
У меня в Москве — колокола звенят,
И гробницы, в ряд, у меня стоят, —
В них царицы спят и цари. (95).*

В то же время расширение пространства не снимает чувства домашнего уюта. Улицы, бульвары и памятники Москвы как бы сливаются (продолжают его) с домашним интерьером, его атмосфе-

¹³ Считаю возможным не останавливаться на этом подробно, а сослаться на свою статью: Цыганская тема в творчестве М. Цветаевой и некоторые вопросы пушкинской традиции. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвуз. сб. науч. трудов. — Л., 1986.

¹⁴ Определение суммарное, которое в индивидуальных вариантах реализуется многозначно (например, в «Пепле» А. Белого и в «Стихах о России» А. Блока).

рой. В этом широком контексте памятник Пушкину кажется не менее домашним, чем близкие, а звучащий музыкой матери дом в Трехпрудном переливается в музыку колокольного московского звона, поэтому эпитет «певучий» может быть в равной мере отнесен к Москве и к дому семейному. Стихами о своем рождении М. Цветаева закрепляет эту мысль нерасторжимости малого и большого дома, малый дом органически вписывается в ландшафт большого (Москвы)¹⁵.

*В колокольный я, во червонный день
Иоанна родилась Богослова.
Дом — пряник, а вокруг плетень
И церковки златоглавые. (82).*

Означает ли это отсутствие у Цветаевой вообще антиномии дом — город — мир. Нет, исключение делается только для Москвы. Не случайно при всем интересе и любви к «петербургским» поэтам, Блоку, Ахматовой, Мандельштаму, в стихах, им посвященным, поступает противоядие Москвы Петербургу — смысловой лейтмотив этой оппозиции: «Неоспоримо первенство Москвы». Этим объясняется оттенок некоторого сочувственного сожаления, вплетающийся в слова любви и признательности, сожаления о том, что они лишены счастья повседневного общения с «дивным градом», и это ощущается ею как определенная ущербность их жизни. Так, обращаясь к Блоку в стихотворении «У меня в Москве купола горят...», она пишет: «И не знаешь ты, что зарей в Кремле/Легче дышится, чем на всей земле». Этот оттенок подспудно присутствует в той щедрой готовности, с которой она дарит Москву любимым поэтам (Мандельштаму и Ахматовой).

*— И я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова! — и сердце свое впридачу. (103).*

У Л. Андреева в городе царит «что-то равнодушно-жестокое». «Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял <...> Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замеревшим в странной судороге, и все не выйти из линий толстых каменных домов»¹⁶.

У более близкого ей по «Мусагету» А. Белого: «Город убивает землю. Перековывает ее в хаотический кошмар. Город — мозг земли: мор, разрастаясь, оплетает тело стальной проволокой нервов». Он «паразит». В «Пепле» и позже в «Петербурге» город воспринимается Белым как гнетущая, разрушительная для человека сила («превратил горожанина в тень»)¹⁷.

У Цветаевой же Москва просторно и естественно раскинулась

¹⁵ В этот город как в родной дом, которым ей владеть в будущем, — вводит она свою дочь (см.: В дивном граде сем/В мирном граде сем,/Где и мертвой мне/Будет радостно «Облака вокруг»).

¹⁶ Андреев Л. Полн. собр. соч. — Т. 7. — СПб., 1913. — С. 200—201.

¹⁷ Белый А. Город//Арабески. — М., 1911. — С. 356.

на семи холмах, как на семи колоколах, она не давит землю, не гнетет, а возносится своими сорока сороками, не утрачивая земного притяжения. Восприятие Цветаевой Москвы сближает ее скорее не с современниками, а с предшественниками. С Аполлоном Григорьевым, например, с его соотношением Москвы с национальной почвой, с характером русской души, с ее «антипатией к логической нормативности» (линейности петербургского типа). Отсюда естественность, казалось бы, неожиданного для города уподобления Москвы — растению (особенно на фоне «города — спрута» — «змея», «паучихи» у поэтов XX в.), растению, «великолепно разросшемуся и разметавшемуся»¹⁸.

«Единственная столица» Цветаевой не враждебна человеку, она не разрушает его, а защищает. Она — дом для бездомных («Москва! Какой огромный странноприимный дом/Всяк на Руси бездомный/Мы все к себе придем»).

Москва — источник сил и вдохновения для поэта; об этом говорит Цветаева в известном стихотворении О. Мандельштаму: «Из рук моих нерукотворный град» («И встанешь ты, исполнен дивных сил»). Здесь «легче дышится, чем на всей земле». Поэтому у Цветаевой Москва (как город) не оппозиционен народной, «полевой России». И ее московские героини «стихийным свободолобием», раскованностью страстей сродни кочевой изначальной России. Ее лирическая героиня чувствует свое духовное родство с этим городом. В нем она ощущает себя счастливой хозяйкой.

*Сегодня ночью я одна в ночи —
Бессонная, бездомная черница!
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы! (89).*

Не случайно, как замечает В. В. Мусатов, Москва раскрылась О. Мандельштаму «через Цветаеву своей женственной, женской сутью, <...> город персонифицируется в образе Авроры в «шубке меховой», <...> речь идет о конкретном адресате, Марине Цветаевой»¹⁹.

Время с 1918 — начала 20-х гг. — для Цветаевой период житейских лишений и трагических утрат. (Без вести пропавший муж, болезнь дочерей, в 20-м г. — смерть младшей дочери.) Дом в Борисоглебском переулке, некогда любовно обживаемый молодой семьей, разорен. Распроданы и сожжены вещи, с великим трудом добывается скудная пища (лишь бы выжить). В доме два «живых места» — железная печка, около которой греются мать, дочь и те, кто находит здесь недолгое пристанище²⁰. И верхняя комната (чердак-каюта) со столом, где пишутся стихи. Она согре-

¹⁸ Григорьев Ап. Воспоминания. — Л., 1980. — С. 8.

¹⁹ Мусатов В. В. Об одном пушкинском сюжете в «диалоге» М. Цветаевой и О. Мандельштама 10-х годов. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвуз. сб. научн. трудов. — Л., 1986. — С. 104.

²⁰ Об этом см.: Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. — М., 1968. Эфрон Ар. Страницы воспоминаний. — Звезда, 1973. — № 3.

та вдохновением («вдохновение-дуновение»). Образ дома в этот период проходит через многие ее стихотворения, его семантические варианты многообразны. Устойчивая характеристика дома — нищий («Прости моя осанка, / Нищ мой домашний кров»). Для его обитателей он — не защита от лишений. Усиливается тема сиротства, неприкаянности, бездомности. В стихах к дочери в 18-м году:

*И бродим с тобой по церквам
Большим — и малым приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим — и знатным, господским. (134).*

И в другом стихотворении тому же адресату «Але»

*И так хорошо нам вдвоем —
Бездомным, бессонным и сырм...
Две птицы: чуть встали — поем
Две странницы: кормимся миром.*

Но параллельно с уходом из обнищавшего дома в мир развивается другой мотив: свой дом при всей его бедности открыт для всех странников. Здесь находят тепло, приют и пищу все, кто в этом нуждается.

*Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть Чужому ужин —
Жилье свое спалю! (166).*

Бедность и щедрость дома, открытого для людей, противостоят в стихах домам богатства и равнодушия. Противостояние дома одухотворенного мертвому, несмотря на то, что он обитаем и благополучен. Этот мотив в полной мере зазвучит в эмигрантских стихах Цветаевой. Образ дома вбирает в себя и такую важную для зрелой Цветаевой тему, как тему творческого дара, того дара, который хотя и одухотворяет дом, но не уместается в нем, рвется из любых ограничений (тела, дома, времени). «Если душа родилась крылатой — / Что ей хоромы и что ей хаты» (Об этом же в стихах: «Стихи растут, как звезды и как розы», «Руки, которые не нужны милому, служат — миру» и др.). В этом ключе звучит весь цикл «Психея». Отсюда и все усиливающийся мотив духовной, творческой свободы. Именно вера в творческий дар в это трудное время дает автору и ее лирической героине силы выстоять, не сломиться под тяжестью повседневных бытовых забот. Апогеем решения этой темы является поэма 1921 г. «На Красном коне», где все, сковывающее свободу творческого дара, все домашнее, приносит в жертву крылатому Гению. Дар, испеляющий дом:

*Трещи, тысячелетний ларь!
Пылай, накопленная кладь!
Мой дом — над всеми государь,
Мне нечего желать. (437).*

В период эмиграции все эти мотивы переплетаются, то как нити, свиваясь в тугой узел, то как равнозаряженные провода — от-

талкиваясь. Бездомность, из темы в значительной степени литературной, в эмиграции станет постоянным состоянием жизни: отсутствие оседлого места обетования, убогие комнаты или квартиры в кварталах бедноты и пригородах. В письмах и в стихах «уют» этих временных жилищ определяется ею как «логово» или «трудоба». «Первая ночь в новом логове. Потолок косою, стены кривые, пол и постель горбатые», — пишет Цветаева в 1924 году в письме к Ариадне Черновой — Колбасиной²¹. Подобными описаниями квартир, где живет как «в ящике без воздуха» — полны ее письма 20—30-х годов к разным адресатам (О. Е. Черновой — Колбасиной, В. А. Буниной, А. А. Тесковой).

Особенно ранит Цветаеву человеческое равнодушие окружающих, подчеркнутая отчужденность более обеспеченного круга своих же русских эмигрантов.

С болью пишет она об этом одиночестве среди своих же в письме к А. А. Тесковой (1935 г.): «Это — эмигрантский поселок в сосновом лесу. Зажиточный — эмигрантский, т. е. буржуазный <...> Мы в этот поселок не вошли: здесь все — либо хозяева пансионеров, либо пансионеры. Мы — сбоку, на вышке чужого (пока — пустого) дома — как на плахе». И с горьким недоумением: «У меня здесь нет ни души — для бесед, как у Мура — никого для игр <...> никто (а много — знакомых, например вся семья кн. Оболенских), за две недели нас ни разу не позвал к себе — хотя бы на террасу, не говоря о том, что — не зашел. М. б., наша бедность, — не знаю, <...> каждый вечер сидим на кухне, без — ни — души»²².

В то же время ни в ее письмах, ни в ее стихах нет чувства зависти к богатству и благополучию. И на бедность свою она жалуется не столько потому, что приходится довольствоваться малым (самоограничения в еде, одежде всегда были ей присущи)²³, угнетает ее то, что борьба за существование, повседневная перегруженность сиюминутными заботами отрывает от творчества, иссушает душу. Душа у нее аналог творчества, боли, свободы — родства со всем миром. Главная ее тревога — сохранить «душу живую», а это значит суметь преодолеть «тупую» тяжесть быта. «Боюсь, что беда (судьба) во мне, — пишет она в январе 1925 г. из Чехии в Париж О. Е. Черновой-Колбасиной, — я ничего по-настоящему, до конца, т. е. без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределы. Мне во всем — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец <...> Эта болезнь неизлечима и зовется душа»²⁴.

В письмах, где все более определено, открыто (чем в стихах),

²¹ Цветаева М. Неизданные письма. — Париж, 1972. — С. 69.

²² Цветаева М. Письма Анне Тесковой. — Прага, 1969. — С. 128.

²³ Об этом в том же письме: «Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые мне доверяют себя сказать». — Там же. — С. 127.

²⁴ Цветаева М. Неизданные письма. — С. 114.

это чувство тревоги за подавляемый обстоятельствами дар достигает трагического напряжения: «Наконец — я испугалась. А что если я умру? Что же от этих лет останется? (зачем я — жила??). И — другой испуг: а что если я — разучилась: я уже не в состоянии написать целой вещи <...>. Я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать (день и ночь) в голове, под черепом — трубы *en ut bemol*»²⁵. Но все это в конечном счете покрывается (преодолевается) всесущностью этого дара в себе и через него причастности миру иных, чем быт, покой, благополучие, ценностей. Миру поэзии, поэтов.

Столь пространственные извлечения из переписки М. Цветаевой необходимы для восстановления той реальной (биографической) почвы, которая питала поэтические вариации этих тем и мотивов в ее творчестве 20—30-х годов и их трансформированность образом дома.

Образ дома бедности (трущобы), как и в творчестве ее 1918—22-х гг., в этот период, знак беды и одновременно — причастности к общности людей труда и лишений, что не унижает, а возвышает. Отсюда устойчивая контрастность противопоставления дома бедняков домам богатых. Этот контраст становится структурной основой стихов, циклов, поэм (например, цикл «Поэт», поэм: «Поэма заставы», «Крысолов», «Поэма лестницы», звучит этот мотив и в «Поэме горы» и в «Поэме конца»). Поэтизация дома бедняков идет в русле ее извечных пристрастий: к естественности, стихии, к униженным и оскорбленным.

*А покамест еще в тенетах
Не увязла — людских кривизн,
Буду брать — труднейшую ноту,
Буду петь — последнюю жизнь! (233).*

В домах бедняков вещи им сродни своей природностью. Если, как она скажет в «Крысолове», «В богатых домах» «Вся плоть вещества», то в бедных домах «сущность вещей». В этот ряд Цветаева включает и свой дом, дом поэта, дом «лопуший, ромаший»./ «Дом, который не страшен»/ «В час народных расплат»/. Связь дома бедняков и поэта закреплена сходством вещей бедных, но одухотворенных проявлением сущности своих владельцев. В этот контекст включается и ее апофеоз письменному столу (цикл «Стол»). Здесь тоже противостояние богатства и бедности, с постоянным выходом в противоположение антидуховного и духовных начал, в обратной их пропорциональности к владению материальными благами.

*Квиты: вами я объедена,
Мною — живописаны.
Вас положат — на обеденный,
А меня — на письменный. (302).*

Она благодарит письменный стол, как адекват творчества, за то,

²⁵ Там же. — С. 503.

что он уберег ее от предпочтения духовному богатству житейского благополучия.

*Спасибо за то, что стал
(Соблазнам мирским порог)
Всем радостям поперек,
Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес. (298).*

Так же, как и в цикле «Поэт», в цикле «Стол» доминирует мысль о прямой связи нищеты малого дома поэта с богатством дома — мира в космической его безграничности. «Поэт — издалека заводит речь./Поэта — далеко заводит речь». И снова антитеза: Для благополучных, определяющих «меры мер» современной жизни поэты — парии вынесены за скобки их дома — жизни/«Им свалочная яма — дом»./Для поэта его дом — вся вселенная/«планетами, приметами»/. Он не вмещается своей безмерностью в стиснутую нормами жизнь./«Поэтов путь. Развешанные звенья/Причинности»/.

За границей отчетливее обозначается антиурбанистическая позиция М. Цветаевой (об этом в стихах и письмах). Хотя и здесь есть своя иерархия чувств. Роднее те города, в которых узнается что-то родственное Москве (своей душе). Прага, например.

Отталкивающе холодным, равнодушным кажется ей воспетый многими великолепный Париж. Да и родство с Прагой открылось ей после ощущения чужеродности Парижа, подавляли его громадность, многолюдство и, главное, разобщенность людей.

Там в 1925-м году она напишет о Праге Ан. Тесковой: «Я Прагу люблю первой после Москвы и не из-за «родственного славянства», из-за собственного родства <...> за ее смешанность и многодушие. Издалека все лучше вижу»²⁶. Прага, Чехия воспринимаются ею вне противостояния природе, она как бы часть ее. Париж, как и вообще большой город европейской цивилизации, для нее антиприроден, потому бездушен. Этим холодом бездушия Цветаева наделяет и дома, в которые не тянет ее возвращаться, в них нет ощущения тепла и защиты, они не одухотворены:

*Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с котомкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма. (304).*

Отсюда резкое противопоставление города природе (цикл «Деревня», стихотворения «Куст», «Сад»). В стихотворении «Деревья» парижские деревья — смертники, стиснутые камнем и железом, рвутся, рая «о железо ветви, из города — тюрьмы».

²⁶ Цветаева М. Письма Анне Тесковой. — С. 33.

*Глядите — как собственных сучьев
Хроматикой — почек и птичек —
Деревья, как смертники, кличут!* (304).

Через многие ее стихи и письма, особенно в 30-е годы, проходит тема бегства из города. Выплескивается с повышенной экспрессией тоска по гармонии, обретению дома души. Тоска — мечта, рожденная отчаянием, неверием обрести этот «дом души» в реальной жизни. «За этот ад/За этот бред/Пошли мне сад/на старость лет» («Сад». 1934 г.).

Все чувства в 30-е годы обостряются семейными обстоятельствами — стремлением мужа и дочери вернуться на Родину. Стремление это вызывало разноречивую реакцию в душе и сознании М. Цветаевой. «Все выталкивает меня отсюда», — писала М. Цветаева разным адресатам, — («стихи не печатают совсем, прозу — редко»). Вернуться туда, где «вся Россия» — непроходящая ее тоска всех лет эмиграции. Но ей чужд политический, ослепляющий фанатизм С. Я. Эфрона, заражающий и детей, и она понимает, что с ее неспособностью к компромиссу, независимости суждений и убеждений вряд ли там она придется ко двору и обретет снова этот желанный дом. Отсюда, с одной стороны, цикл «Стихи к сыну», заключающие: «Езжай, мой сын, домой — вперед — /В свой край, в свой век, в свой час — от нас». Или в стихотворении «Родина»: «Даль, отдалившая мне близь, /Даль, говорящая «вернись»/Домой». С другой, — трезвое осознание того, что ни той России, ни того дома уже нет, все необратимо изменилось. «Той ее — несчетных/Верст — небесных царств.../Той России — нету/Как и той меня».

Все это у Цветаевой обостряет тоску по некогда бывшему дому, оживляет память о нем. 1930-е годы во многом проходят у нее под знаком образа дома детства и дома — Москвы (стихотворения «Дом», «Родина»). Его быт, атмосфера, интерьер с любовью реконструируются ею в автобиографической прозе («Мать и музыка», «Сказка матери», «Черт», в работах о Пушкине). Им полны ее письма. «И чем ближе к возможному отъезду, тем непреодолимее эти постоянные возвращения памяти к истокам, к несуществующему уже в яве, но тем более живом в памяти и творчестве — дому в Трехпрудном. О нем большое письмо 1936 года к Ан. Тесковой: «Трехпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде имения (НОР), и целый психологический мир — не меньше, а м. б., и больше дома Ростовых, ибо дом Ростовых плюс еще сто лет. Еще в 1909 г. — совсем девочкой — я писала:

*Запылала в небе изумрудном
Капли звезд — и пели петухи
Это было в доме старом, в доме чудном,
Превратившимся теперь в стихи²⁷.*

²⁷ Там же. — С. 137.

И дальше о том, как стоя в 1920-м на развалинах этого дома, растащенного на дрова, не могла отрешиться от чувства его существования. «Закрываю глаза — есть, открываю — нет»²⁸.

Интерес к своей родословной всегда был присущ Цветаевой («Бабушке», «У первой бабки четыре сына» и др.), как и заглядывание в предшествующие века (пристрастие к мифике разных веков и народов). Пристальное всматривание в историю рода было для нее не только благодарной данью потомкам предкам, но, как у Пушкина, необходимой опорой самопознания. Слившимся в ней двуединством разных генетических истоков («простонародно»-русских со стороны отца и аристократически-интернациональных — матери) многое объясняла Цветаева в своем характере и творчестве («Обеим бабкам я вышла внучка/Чернорабочий — и белоручка!»). Духовно-культурная родословная волновала ее не меньше. Ее она тщательно и пристрастно реконструировала в своей прозе 20—30-х годов. Обе эти линии пересекались, порою сливались и уводили к началу начал — к действию, к дому, «который скрыт», и дому — Москве, родине, тем домам, которые питали детство и юность, в которых жилось и дышалось естественно и привольно. Все это теперь проецировалось Цветаевой на свое эмигрантское сегодня, и, что особенно тревожно и драматично, на ближайшее завтра — возможность возврата, куда, конкретно (дом, город) и какой ценой. Письма Цветаевой полнятся тревогой и сомнениями. Москва (тот второй дом после родительского) притягивает и отталкивает. «В Москве у меня сестра Ася <...> В Москве у меня — все-таки — круг настоящих писателей — не обломков/Меня здешние писатели не любят, не считают своей/. Наконец, природа, простор» (1935 г.)²⁹.

И в письме следующего 1936 г.: «Живу под тучей отъезда <...> Я в Москву не хочу: жуть!/Детство — юность — революция — три разных Москвы, точно живьем в сон, сны — ничего не похоже, все — неузнаваемо»³⁰. Цветаева хорошо сознавала, что предстоят жестокие испытания на прочность и верность себе — поэту и человеку.

*Заново родиться!
В новую страну
Ну-ка воротиться
На спину коню
Сбросившему!*

Что можно (должно) в себе преодолеть, смирить ради возвращения в манящий, но призрачный дом, а что нерушимо, необратимо, без чего не будет и самой себя. Например: «Я не могу подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его называла

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. — С. 135 или в письме к Бахраху (дописанному в 30-х гг.): «вся моя жизнь (1922—1932) — жизнь трех сестер, только не трех, а одной... — с достоверной невозможностью Москвы./Цветаева М. Сочинения. — Т. 2. — М., 1988. — С. 500.

³⁰ Цветаева М. Письма Анне Тесковой — С. 137.

великим <...> Это не мое величие и — м. б. важнее всего — ненавижу каждую торжествующую казенную церковь»³¹. Горькой иронией и вещим пророчеством звучат ее слова в письме 1936 г. А. Тесковой: «Помните, в сказке, Иван-Царевич на раздорожье: влево пойдешь — коня загубишь, вправо пойдешь — сам пропадешь»³². И возможно, то бесстрашие, без которого невозможно было бы пережить беды эмиграции и решиться на новый «последний перелом» жизни, укреплялось в ней сознанием своей причастности к далеко в глубь прошлого уходящему наследственному ряду (генетическому и культурному).

Готовая порваться в культуре «связь времен», обостряла внимание Цветаевой к этой теме. В то время, когда с одной стороны целые направления ориентировались на абсолютный разрыв с прошлым, а другие абсолютизировали отрицание новаторских исканий советской литературы, Цветаева по-гамлетовски стремилась восстановить порвавшиеся временные связи («Поэт и время»). Соединить, а не противопоставить, как антагонистов, Пушкина и Маяковского.

И снова истоки поздней мудрости Цветаева ищет и находит в поре своего детства в ставшем (и бывшем) мифом всей жизни — доме в Трехпрудном («Ах, весь дом был тайный, весь дом был — тайна!»). От мифа дома детства идут мифы всех других домов. «Дома у старого Пимена, дома М. Волошина в Коктебеле». И у каждого дома своя доминирующая мифологема. Если у «Дома у старого Пимена» — это миф о Хароне, перевозящем умерших через Лету и Хроносе, пожирающем своих детей, то в доме детства над многочисленным сплетением мифологем разных истоков (в том числе и пушкинских) господствует миф о древе познания добра и зла. Под знаком этого древа разворачивается миф-боль о роковой материнской судьбе. Матери, спешащей (обречена на скорую смерть) передать все пережитое и знаемое детям. «О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джейн Эйрами», с «Антонями Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех <...> заливала и забивала с верхом — впечатления на впечатление и воспоминание на воспоминание <...> забивали вглубь — самое ценное — для долшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано» и за последним нырок в сундук, где оказывается, еще — все»³³. Таким нырком в сундук, когда кажется «уже все продано», была и ее автобиографическая проза, исходный адрес которой — родительский дом. Древом познания оборачивался в мифе Цветаевой о Трехпрудном красный книжный шкаф в комнате старшей сестры. («Обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла».) Именно этот шкаф-оборотень ис-

³¹ Там же. — С. 135.

³² Там же. — С. 138.

³³ Цветаева М. Проза. — С. 139.

кусил ее в раннем детстве Пушкиным. «В Валериной комнате много до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мцыри», «Русалка», «Барышня-крестьянка», «Цыганы»³⁴. Причем в детском восприятии в красном шкафу жили не только очаровавшие ее на всю жизнь произведения Пушкина. «В шкафу у старшей сестры <...> живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками». Такое сказочно-мифическое ощущение живого присутствия Пушкина было подготовлено «прапамятью» еще до чтения его произведений. Картиной Наумова «Дуэль», запечатленной сопереживанием своей причастности его судьбе³⁵, его памятником на Тверском бульваре: «плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу <...> стоит с вечной шляпой в руке <...> Памятник Пушкину был — обиход, такое же действующее лицо моей жизни <...> Памятник Пушкину был первым моим видением неприкосновенности и непреложности»³⁶. Непреложно существующим, вечным в детском представлении, вечным не абстрактно, а живым, то живущим в тайном шкафу, то приходящим в гости (опосредованно через сына) в Трехпрудный дом. («Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и отвсегда».)

«Пушкин был мой первый поэт», — пишет Цветаева в 1937 году в очерке «Мой Пушкин», — первый не только потому, что первым узнала, первым так глубоко вошел в чувства и сознание, но первым по силе воздействия на формирование души, интеллекта и дара. Под сенью его памятника, чтения его книги «из груди в грудь» раскрывалась, пробуждалась детская душа, жадно и на всю жизнь впитывающая его «уроки»: уроки любви, мятежа, свободной стихии. «Памятник Пушкину был и моя первая пространственная мера <...> Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли»³⁷. Уроки без назидания и принуждения, уроки до семи лет, когда не усваивают только сознанием, а вбирают всеми чувствами, когда не объясняют, а догадываются. К периоду работы над циклом произведений о Пушкине (прозы и стихов) у Цветаевой утвердилось представление (подтверждение тому — неоднократное повторение и аргументированность этой мысли) о трех этапах развития и становления личности: «Детство — пора слепой правды, юношество — зрячей ошибки» и зрелости, когда «сознание dorосло до инстинкта, не сплелось, а спаялось с ним»³⁸.

Все этапы важны: «История моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юношество. Обе ценны, первая как бог и я, вторая как я и мир»³⁹. Но определяющей и любимой порою для

³⁴ Там же. — С. 341.

³⁵ «С тех пор... как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили... я поделила мир на поэта и всех, и выбрала поэта». — Там же. — С. 332.

³⁶ Цветаева М. Проза. — С. 332.

³⁷ Там же. — С. 336.

³⁸ Цветаева М. Сочинения. — Т. 2. — М., 1988. — С. 52.

³⁹ Цветаева М. Проза. — С. 348.

Цветаевой было детство: «Там — корни <...> «Чудится мне» <...> так говорит народ. Так говорит поэт». Возвращаясь к детскому (домашнему и вечному) восприятию Пушкина, в период, когда «сознание спаялось с инстинктом», она снова убеждается (и убеждает читателей) в том, что детским «чутьем» уже было открыто ею в Пушкине то, что только прояснялось ее взрослеющему сознанию позже. Так, первое знакомство с «Евгением Онегиным», 1-я сцена объяснения Онегина с Татьяной «предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви... И этим себя на нелюбовь — обрекла»⁴⁰. В завороченности пушкинским «К морю» — предчувствие поэта в себе: — «...безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказались — прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются никогда»⁴¹.

В детском соединении пушкинского стихотворения «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» с песней и романсом про очи голубые интуитивно угадывалась народность Пушкина. «Все это называется Россия и мое младенчество, а если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне и те голубых два глаза. Вошли в состав»⁴².

Так со взглядкой на свое детское восприятие Цветаева интегрирует три дома обитания Пушкина: трехпрудный дом, где в «шкафу-древе» жил Пушкин, Москва — памятник и Россия — творчество. Все эти ипостаси вошли в «состав» ее души, сознания, творчества, но этим не ограничились.

В своем эссе «Мой Пушкин» Цветаева вспоминает свои юношеские стихи о памятнике Пушкину.

*А там, в полях необозримых,
Служа небесному царю,
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.*

Отсвет этой зари ощущает она и в своей жизни. «Правнук Ибрагимов» для нее стал зарею прозрения. Через него — в себе (пробуждение потаенного) и с ним — в мир расширение горизонта, преодоление одномерности. Эта мысль постоянно варьируется ею в стихах о Пушкине. И в эту сферу раздвижения горизонта мировосприятия включает Цветаева очень важное в системе ее взглядов: преодоление узости представлений о ценности только своего дома. Свою природную антипатию к националистической нетерпимости связывает Цветаева и с Пушкиным: «Памятник Пушкину есть живое доказательство низости и мертвенности расистской теории, живое доказательство ее обратного <...> Под памятни-

⁴⁰ Там же. — С. 372.

⁴¹ Цветаева М. Мой Пушкин. — М., 1981. — С. 51.

⁴² Там же. — С. 62.

ком Пушкину россияне не будут предпочитать белой расы»⁴³.

В Пушкине Цветаеву восхищала гармоничность сосуществования национального и общечеловеческого, гармония, по ее мнению (см. «Герой труда»), утраченная современными поэтами (исключение — Блок) и в полной мере присущая народному сознанию, томлению «по заморью», тридевятому царству («У Руси глаза велики»). В этом видела Цветаева (вослед Гоголю и Достоевскому) в Пушкине «Полное явление русского гения, все присваивающего». Все это не только восхищало в Пушкине, но и эхом отзывалось в собственной душе и жизни. Цветаеву «из русских, русскую» (И. Эренбург) всегда возмущало всякое проявление националистической ограниченности. Так, в письме 1935 г. к А. Тесковой Цветаева с гневом и иронией пишет о тех «русских патриотах» в эмиграции, которые свой патриотизм выражали подчеркнутым презрением к жизни и культуре приютивших их стран: «Но будьте уверены, Ваши соседи — патриоты и своей России не знают, разве что казачий хор по граммофону и несколько мелких рассказов Чехова». И далее почти теми же словами, что и о пушкинском гении: «Ибо знающий Россию, сущий — Россия <...> любит все, ничего не боится любить»⁴⁴. Это и ее Россия — безмерность и бесстрашие любви. Еще раньше о безмерности пушкинского гения, все вмещающего, она скажет в статье «Герой труда», особо акцентируя мысль о равноденствии в его творчестве двух начал (2-х домов): России и мира. «Только в единственном русском гении — Пушкине мир не пошел в ущерб дому/и обратно/»⁴⁵. Так в зрелости дорастают до осознания инстинктивно усвоенные в детстве уроки матери и «чары» Пушкина. Миф о доме реализуется в творчестве глубинными раздумьями о сущностных представлениях: о человеке и мире, о временном и вечном, о творчестве и назначении поэта.

Устремление Цветаевой к широте интерпретации дома, как мира, в создании которого первенствующую роль она отводила искусству, которое, по ее страстному убеждению, преодолевающая национальную, государственно-политическую разобщенность⁴⁶, устремлено к всечеловеческому объединению⁴⁷, не отменяло другие ипостаси триады, не снимало тоски по «родному пепелищу». Все эти «дома» в сознании и чувствах Цветаевой жили в сложном взаимодействии, и напряженность этих взаимодействий корректировалась трагизмом ее судьбы.

⁴³ О своеобразии восприятия Пушкина Цветаевой см.: Орлов Вл. Сильная вещь — поэзия//Цветаева М. Мой Пушкин. — М., 1967; Швейцер В. Памятник Пушкину./Новый мир. — 1962. — № 2; Голицына В. Всякая современность в настоящем — сосуществование времен//Пушкинский сборник. Уч. зап. ПГПИ. — Псков, 1973.

⁴⁴ Цветаева М. Мой Пушкин. — С. 43.

⁴⁵ Цветаева М. Сочинения: В 2-х т. — Т. 2. — С. 63.

⁴⁶ Цветаева М. Избранная проза: В 2-х т. — Т. 1. — New-York, 1979. — С. 214.

⁴⁷ В статье «Поэт и время» она писала: «Надпись на одном из пограничных столбов современности. В будущем не будет границ в искусстве: уже сбывлась, отродясь сбывлась» — Цветаева М. Сочинения. — Т. 2. — С. 359.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

**ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЙМИНА**

Псков 1991